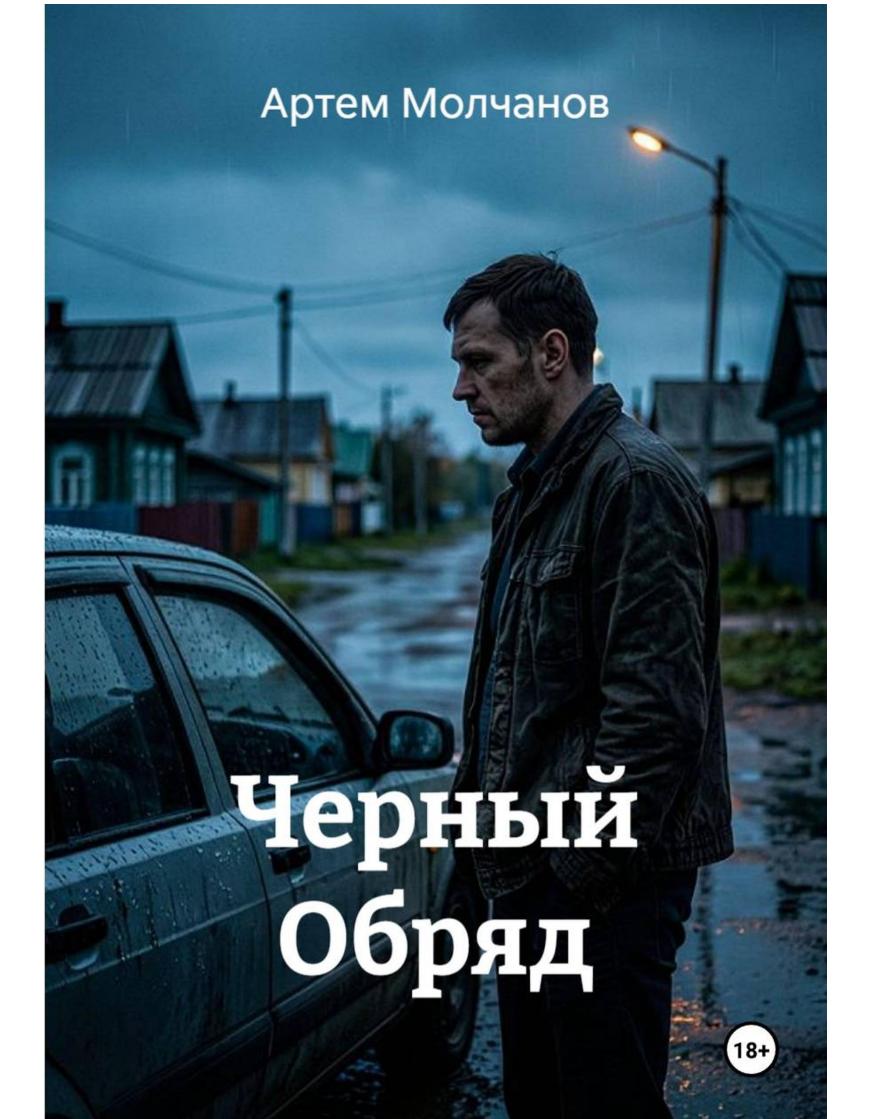


A cinematic movie poster featuring a man in a dark leather jacket standing on a wet street at night. Rain is falling, and a car is partially visible on the left. The background shows residential houses and a street lamp.

Арте́м Молча́нов

Чёрный Обряд

18+

Артем Молчанов

Черный Обряд

<https://litres.ru/74622812>

SelfPub; 2026

Аннотация

Виктор Прокофьев едет туда, где его никто не знает, — лишь бы не видеть пустого кресла за столом и не слышать в шуме дождя голос дочери. Он покупает крепкий дом в глухой деревне за смешные деньги и решает, что это просто удача уставшего человека. Ему не нужны разговоры, соседи, чужое любопытство — только тишина, в которой можно забыть ночь, когда машина жены ушла в кювет, а он остался жив. Но деревня не даёт забыться: по ночам в подвале кто-то ходит, у крыльца появляются следы, не похожие ни на человеческие, ни на звериные, а соседи вежливо замолкают при каждом его вопросе. Степан Егорыч приглядывается к нему слишком внимательно, а единственная, кто говорит прямо, явно скрывает больше, чем произносит вслух. Виктор бежал от себя — но что, если здесь от него самого что-то ждут?

Содержание

Сделка на опушке	4
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Артем Молчанов

Чёрный Обряд

Сделка на опушке

Третий год подряд земля не держала обещаний.

Весной сорок первого (так потом будут вспоминать старики, путая цифры, потому что счёт годам в деревне вели не по календарю, а по бедам) всходы легли плашмя, будто придавленные невидимой ладонью. На второй год недород повторился, а в колодцах завелась ржавая муть, от которой коровы отказывались пить. На третий пал скот — не болезнью, а как-то разом, в одну ночь, будто кто прошёл по хлевам и выдохнул. А следом пришла хворь на детей: без жара, без кашля, просто дитя переставало есть, смотрело в угол избы и к исходу недели угасало, как свеча на сквозняке. Фельдшер из района разводил руками и писал в бумагах слово, которого никто не понимал и не хотел понимать.

Деревня, у которой тогда ещё не было названия на карте — так, урочище, три порядка изб вдоль речки, — молчала по-своему, угрюмо и с оглядкой. По вечерам старики садились на завалинках, куря самосад, и говорили не про урожай и не про власть, а про то, что земля отворачивается. Не прямо, конечно, не этими словами — боялись сглазить и своё же

сказанное. Один скажет: "Чтой-то лес в этом году не пускает по ягоды, волк воет не по-нашему". Другой кивнёт, помолчит, сплюнет через левое плечо. Третий и вовсе уйдёт в избу, не доиграв разговора, потому что страшно договаривать до конца.

В одной избе, на отшибе, у самой кромки леса, жила та, кого в деревне не называли по имени. Так повелось давно, ещё с её матери, а может, и раньше: звали по ремеслу — знахаркой, бабкой-зельницей, а то и просто "она". Имя стёрлось не из забывчивости, а оттого, что произносить его вслух не хотели, будто оно само по себе было обоюдоострым, как нож, которым можно и хлеб резать, и человека. Жила одна, без мужа и детей, держала козу и травы, лечила то, что можно вылечить, и молчала о том, чего вылечить было нельзя.

В ту ночь, когда хворь унесла третье дитя за месяц — девочку кузнеца, младшую, — знахарка не ложилась. Сидела у печи, глядя на жар сквозь приоткрытую дверцу, и слушала, как за стеной воет не то ветер, не то что-то, что ветром прикидывалось. К полуночи встала, тяжело, как встают люди, для которых решение давно принято и осталось только исполнить. Сняла с гвоздя холщовый узелок, в который с вечера уже были завязаны соль, красная нить и ещё что-то, чего не разглядеть было в полумраке избы. Накинула плат, не глядя в зеркало — зеркал у неё отродясь не водилось, — и вышла за порог.

Ночь стояла безлунная, тёплая не по-доброму, с духотой,

какая бывает перед грозой, которая всё никак не разразится. Знахарка не взяла фонаря. Пошла вдоль плетней, мимо спящих изб, туда, где кончалась деревня и начинался лес, тёмный настолько, что казалось, будто сама темнота там гуще, плотнее, чем везде.

В избе кузнеца, в той самой, где накануне отпели младшую дочь, у окна стоял Степан — пятнадцати лет, худой, с руками, уже огрубевшими от работы у отцовского горна, но лицом ещё совсем детским. Он не спал, да и не пытался: в доме после похорон не спал никто, мать всё сидела над пустой люлькой, не плача уже, а просто глядя, а отец, кажется, впервые за жизнь напился и уснул тяжело, с открытым ртом, в сенях. Степан стоял у окна и смотрел в темноту, потому что смотреть больше было некуда, и вдруг увидел тень, пересекающую улицу — узкую, сутулую, без фонаря, идущую к лесу так, будто ей и свет был не нужен.

Он узнал её сразу, хоть и не разглядел лица. Узнал по походке, по платку, по тому, как она держала в руке узелок, прижимая его к груди, словно боясь уронить. Сердце у Степана застучало часто и неровно, не от страха даже, а от понимания, что видит он что-то, чего видеть не должен, и что это "что-то" важнее любого запрета.

Он не думал, зачем идёт следом. Не было в голове ни мысли, ни цели, только тело само уже тянулось к двери, нащупывало в темноте сенец отцовский армяк, висевший у входа, потому что ночь хоть и тёплая, а в лесу всегда холоднее. Он

вышел так же тихо, как вышла она, стараясь не скрипнуть половицей, не разбудить ни мать, ни пьяного отца, и сам не заметил, как оказался за порогом, в темноте, идущей следом за тенью, растворяющейся впереди между первыми соснами.

Остановиться он уже не мог.

* * *

Лес принял её без звука, будто давно ждал и успел подготовиться: ни хруста валежника под её лаптями, ни шелеста плата, задевающего кусты. А наверху, в кронах, ветер ходил всюду — Степан слышал его, ровный, холодный гул, похожий на дыхание чего-то огромного, развернувшегося над самым лесом и не решающегося опуститься ниже. Там, наверху, сосны качались и скрипели, перетирая друг о друга сухие сучья. Здесь, у земли, не шевелился ни один лист. Степан остановился на миг, вслушиваясь в эту неправильность, и в животе у него стало зябко, хотя ночь, как и прежде, стояла душная.

Знахарка шла впереди, не оглядываясь, не замедляя шаг, будто прочертила для себя дорогу заранее и теперь просто ступала по невидимой линии. Тропы здесь не было — Степан знал этот лес, бегал по нему мальцом за грибами и хворостом, знал, где осинник переходит в ельник, где овраг с ручьём, где старая просека, заросшая малинником. Но знахарка не держалась ни просеки, ни оврага. Она шла напрямик, через самую чашу, между стволами так плотно стоящими, что взрослому человеку впору было протискиваться бо-

ком, и ни разу не задела плечом кору, ни разу не оступилась о корень. Будто лес сам перед ней чуть расступался, а потом смыкался снова за спиной.

Степан держался шагах в двадцати, боясь и приблизиться, и отстать. Плат знахарки белел впереди размытым пятном в темноте — единственный ориентир, за который можно было уцепиться взглядом. Один раз он споткнулся о корень, охнул тихо и присел, прижав руку к губам, а когда поднял голову, пятна уже не было. Он замер, не дыша, вслушиваясь, не треснет ли где ветка, не покажется ли снова белое меж стволов. Прошло, как ему показалось, долгое время — хотя на деле, верно, не больше десятка ударов сердца, — и плат мелькнул снова, но уже далеко впереди, дальше, чем должен был оказаться старухе её лет за эти несколько мгновений. Степан бросился вдогонку, не разбирая дороги, хлестался ветками по лицу, один раз чуть не упал в яму, прикрытую палой хвоей, и всё же нагнал, сократил расстояние — а потом потерял снова.

На этот раз пропажа длилась дольше. Он крутился на месте, оглядываясь, пытаясь угадать по памяти, куда она могла свернуть, и чувствовал, как под ложечкой разворачивается что-то холодное и липкое, не похожее на обычный мальчишеский страх заблудиться. Лес вокруг стоял стеной, одинаковой во все стороны, без просвета, без ориентира, и в этой одинаковости было что-то нарочитое, будто деревья сговорились не пускать его ни назад, ни вперёд. Он открыл было

рот, чтобы окликнуть — не её, просто голос подать, услышать себя самого, — и не смог. Горло перехватило, будто кто-то рукой сжал.

И тут белое пятно снова возникло, на этот раз совсем близко, шагах в десяти, неподвижное. Знахарка стояла спиной к нему среди деревьев, и Степан готов был поклясться, что мгновение назад на этом месте никого не было. Он не стал задаваться вопросом, как она успела пройти такое расстояние так быстро и так тихо, не стал вспоминать, что знахарке этой под семьдесят, а ноги у неё, по слухам, больные — в голове было только одно: не отстать, не потерять снова.

Он сделал шаг вперёд, и тут деревья расступились.

Не постепенно, не так, как редет лес перед поляной, когда стволы становятся всё реже и реже, а светлеет впереди. Здесь было иначе: ещё мгновение назад перед Степаном стояла сплошная чаща, частокол стволов без просвета, а потом — он моргнул, или не моргнул, этого он после не мог вспомнить, — и чаща просто кончилась, будто раздвинутая невидимой рукой, открыв широкую опушку, залитую тем же безлунным сумраком, что и весь лес, но отчего-то видную до последней травинки.

Степан знал этот лес с рождения. Знал каждую полянку, каждый овражек, каждое приметное дерево, под которым прятался от дождя или от отцовской брани. Такой опушки здесь не было никогда. Он был в этом уверен так же твёрдо, как в том, что у него две руки и две ноги, — и всё же она

была перед ним, огромная, круглая, с высокой нетронутой травой, посреди которой темнело что-то, похожее на пенёк, слишком большой и слишком правильный для простого пня.

Знахарка остановилась у самой кромки деревьев, там, где чаще переходила в траву, и замерла, будто прислушивалась к чему-то, чего Степан не слышал.

* * *

Холод стоял над опушкой плотный, будто здесь стыла поздняя осень, хотя в лесу позади, в двух десятках шагов, ещё держался тёплый сентябрьский воздух и пахло прелым листом и грибной сыростью. Степан ощутил это сразу, кожей, раньше, чем понял разумом: дыхание вышло изо рта белым облачком, хотя там, под деревьями, его дыхание ничем себя не выдавало. Он вжался спиной в ствол, самый толстый из тех, что стояли на краю, и выглянул из-за него одним глазом, не решаясь показаться больше.

Знахарка опустилась на колени у самой кромки травы. Движение далось ей легко, без того кряхтения и оханья, с каким она обычно подымалась с лавки у себя в избе, и это несоответствие царапнуло Степана сильнее, чем холод. Она стянула с ноги правый лапоть, осталась в одной онуче, и босой пяткой, а потом носком снятой обуви принялась выводить на земле линии, кривые, выющиеся, пересекающиеся друг с другом так, что глаз не успевал уследить за узором. Трава под её рукой — а она водила и рукой тоже, низко, почти касаясь земли, — не мялась и не ломалась, будто знахарка чер-

тила не по живому, а по рисунку, уже существовавшему под дёрном и только проступавшему наружу.

Она заговорила тихо, нараспев, и слова её не ложились ни в один язык, знакомый Степану. Не молитва, не заговор из тех, что бабка его покойная читала над хворым телёнком, — что-то другое, более старое, в котором проскальзывали то обрывки понятных звуков, то вовсе чужие, вязкие, будто рот знахарки с трудом их выговаривал. Степан разбирал через слово, не больше, и каждое пойманное слово тут же выскальзывало из памяти, как рыба из мокрых рук.

Земля под коленями старухи стала оседать.

Не проваливаться, не рваться, а именно оседать, мягко, плавно, как оседает перина под тяжестью тела, — трава пригибалась ровным кругом, становясь всё ниже, всё темнее, и Степан, глядя на это, впервые за всю ночь почувствовал, что хочет убежать по-настоящему, бросить всё и кинуться назад, сквозь чащу, домой, под крышу, к отцову храпу. Ноги не послушались. Он остался стоять, вцепившись пальцами в кору, и смотрел, как знахарка, закончив чертить, выпрямляется, остаётся на коленях и кладёт обе ладони на вдавленный круг земли, как на живот зверя перед родами.

— Явись, — сказала она одно слово по-русски, громко и твёрдо, без того напева, которым говорила прежде. — Звано — приходи.

Тишина после этого слова стала такой плотной, что Степан слышал собственную кровь в ушах, частую, гулкую. Ве-

тер, который он слышал всю дорогу наверху, в кронах, здесь, на опушке, стих совсем, будто и кроны замерли, прислушиваясь вместе с ним. Знахарка не шевелилась. Круг земли под её руками не проседал больше, но и не возвращался в прежний вид, оставаясь мягким провалом посреди травы, похожим на след исполинской стопы.

А потом ответил голос.

Он пришёл не сверху, не из чащи позади, не из кустов, где могла бы прятаться живая тварь. Он поднялся из самой земли, из-под той вмятины, куда знахарка упёрла ладони, — низкий, ровный, лишённый того рыка или хрипа, какого ждёт мальчишеское воображение от того, кто обитает под корнями. В нём была спокойная, почти ласковая усталость, та интонация, с какой говорит человек, разбуженный среди ночи и не сердящийся за это, а только слегка удивлённый, что его потревожили так скоро.

— Долго же ты не шла, — сказала земля.

Степан за стволом перестал дышать. Голос был мужской, низкий, и в нём не слышалось злобы, не слышалось угрозы — только спокойствие, от которого у мальчика похолодело в животе сильнее, чем от всего, что он видел на этой опушке до сих пор. Знахарка не отстранилась, не вздрогнула. Она сидела так же, прижав ладони к земле, и ждала, будто давно привыкла к этому голосу, будто говорила с ним не впервые и знала, что он скажет дальше.

* * *

Из темноты между корнями, там, где вмятина земли переходила в сплошную черноту, выступило не лицо и не тело, а рука. Она вышла медленно, будто хозяину некуда было торопиться, и легла поверх травы ладонью вниз — длинная, длиннее человеческой почти вдвое, с пальцами, что гнулись не в суставах, а где-то между ними, словно кости в них стояли иначе, чем положено костям. Ногти были чёрные, не от грязи, а насквозь, как у обугленного дерева.

Знахарка посмотрела на эту руку так, как смотрят соседи друг на друга через плетень, когда один позвал другого по делу. Ни испуга, ни почтения.

— Третий год недород, — сказала она буднично, будто продолжала разговор, начатый давно. — Скотина падает без хвори. Дети кашляют кровью, и повитуха не знает отчего. Так дальше нельзя.

— Люди всегда так говорят, когда приходят, — отозвался голос из-под земли, и в нём послышалась тень усмешки, медленной, без злобы. — Третий год. А будто не сами виноваты, что раньше не позвали.

— Позвала, когда приспело, — ответила она. — Не раньше и не позже. Цену говори, а не попрекай.

Рука на траве шевельнула пальцами, и от этого движения по земле прошла мелкая дрожь, какую чувствуешь в полу, когда рядом проезжает тяжёлая телега.

— Дам вам урожай, какого не видели деда ваши, — сказал голос. — Дам покой скотине и детям. Лес не тронет, что

ваше, и земля не отвернётся, пока уговор держится.

— А тебе с того что? — спросила знахарка.

— Память обо мне, — сказал голос, и в этой фразе Степан, вцепившийся пальцами в кору за стволом, услышал что-то, от чего по спине пробежал холод, более ровный и долгий, чем от всего услышанного раньше. — Раз в десять лет. Чтоб не забывали, кто держит слово. Приходить сюда и платить, как сейчас платишь ты. Остальное — дело ваше, как платить будете. Я не жаден к способу. Жаден к памяти.

Знахарка молчала немного дольше, чем до этого, и Степану на миг почудилось, что она раздумывает, взвешивает, как хозяйка на торгу перед ценой за полотно. Но это было не раздумье — она просто давала слову отстояться, прежде чем ответить.

— По рукам, — сказала она.

Голос ничего не ответил, только рука на траве разжалась чуть шире, словно ожидая.

Знахарка достала из-за пазухи нож, маленький, с деревянной рукоятью, потемневшей от долгого хвата, и без колебания провела лезвием по ладони. Степан не услышал ни шипения боли, ни вздоха — только тихий, почти домашний звук разрезаемой кожи, будто резали не плоть, а холст. Она поднесла ладонь к начерченному в земле знаку и уронила с неё одну каплю, тёмную в темноте, почти чёрную.

Земля впитала каплю мгновенно, так жадно, что Степану на миг показалось, будто он видит не почву, а пересох-

шую за лето глину, брошенную в воду, — вмятина вздрогнула, потемнела, и поверхность её разгладилась чуть больше, чем прежде, подтягиваясь внутрь, как подтягивается кожа на старой ране.

— Держи слово, — сказал голос из земли, уже тише, уже с той сытой ленцой, с какой говорят, закончив трапезу, — и я своё сдержу. Десять лет, знахарка. Не забудь посчитать.

Рука соскользнула обратно в темноту меж корней так же неспешно, как появилась, и опушка вновь стала просто опушкой, только трава на ней так и осталась примятой кругом, будто придавленная невидимой тяжестью.

Степан за стволом зажал рот ладонью, не доверяя себе, не доверяя собственному горлу, из которого рвался наружу то ли вскрик, то ли всхлип. Он не испугался руки с вывернутыми пальцами, хоть сердце и колотилось так, что казалось, вот-вот вырвется из груди. Испугало его другое, более тихое и оттого более страшное: то, как легко, без слёз и заговоров, без мольбы, какой он ждал от бабкиных сказок, знахарка сговорила с этим голосом. Как будто торговалась за мешок зерна. Как будто цена, которую она только что заплатила своей кровью, была самой обычной частью сделки, а не концом света, каким она казалась пятнадцатилетнему мальчишке, жвавшемуся в холодную кору.

* * *

Степан бежал обратно не разбирая дороги, и лес, который по пути туда расступался перед знахаркой, как перед хо-

зыйкой, теперь будто нарочно ставил ему под ноги корни и ветки, цепляясь за рубаху. Он не помнил, сколько раз падал и сколько раз поднимался, помнил только, что в какой-то момент деревья расступились сами собой, и впереди встали знакомые крыши, серые от росы, и колодезный журавль, покосившийся ещё при его деде.

Он влетел в сени, когда небо на востоке только-только начало сереть, и долго стоял, прижавшись спиной к бревенчатой стене, слушая собственное дыхание, слишком громкое для такого раннего часа. Ему казалось, что он обогнал старуху, что она всё ещё там, на опушке, или идёт следом, не торопясь, — но порядок этой ночи спутался в его голове настолько, что он уже не взялся бы сказать, сколько времени прошло с того мгновения, как рука с вывёрнутыми пальцами ушла обратно в землю, до того, как он увидел собственный дом.

Спал он или нет — тоже было неясно, но когда отец окликнул его со двора, Степан понял, что уже утро, настоящее, с петухами и дымом из труб, и что рубаха на нём суха, хотя должна была взмокнуть от бега и от страха.

Деревня проснулась другой. Первым заметил это не Степан, а соседский мальчишка, погнавший скотину на выгон, — закричал так, что сбежались все, кто был дома: трава на выгоне, вчера ещё жухлая, бурая до самой земли, за одну ночь налилась зеленью, густой и сочной, будто середина июня, а не осень третьего недородного года. Корова Радуга,

та самая, что третий день стояла, отказываясь от сена, понуро свесив голову, теперь щипала эту новую траву жадно, деловито, мотая хвостом, как будто и не болела вовсе.

Бабы крестились и плакали от радости, мужики чесали затылки и говорили, что бог услышал, что не иначе как по молитве попа, хотя поп в деревне не служил уже третий месяц, с тех самых пор как заболел сам. Кто-то вспомнил икону, кто-то — родник за баней, к которому ходили в засуху. Никто не вспомнил знахарку, и Степан, стоя среди этой суеты с пересохшим ртом, понимал, что и не вспомнят: не в её обычае было принимать благодарность, да и не за чем ей было её принимать теперь.

Знахарка прошла в тот день мимо колодца, как проходила всегда, с ведром на коромысле, неспешно, тяжело ступая, как и положено старухе её лет. Степан стоял у плетня, не в силах отвести глаз, и ждал — сам не зная чего: взгляда, кивка, хоть какого-то знака, что она знает о нём, о том, что он видел прошлой ночью. Она прошла в двух шагах, и ни разу не подняла на него глаз, не замедлила шаг, будто его не было вовсе у этого плетня, будто всё, что случилось на опушке, осталось там, в земле, вместе с каплей крови, и не имело права выйти оттуда и коснуться деревни хотя бы взглядом.

Именно это молчание, глухое, ровное, без тени смущения, и подтвердило Степану то, в чём он до последнего пытался себя разубедить всю обратную дорогу: что ему не привиделось, не приснилось, что он и правда видел то, что видел, и

что старуха знает — он видел.

Он хотел подойти к ней вечером, когда схлынет дневная суета, хотел спросить напрямую, чем куплена эта зелёная трава и эта сытая корова. Слова уже складывались у него в горле, пока он шёл к её избе через всю деревню, но у самого порога он остановился, взявшись за щеколду, и не вошёл. Он понял вдруг так же ясно, как понял ночью в лесу, что ответ, который он получит, будет из тех, какие нельзя унести обратно домой и жить с ними как раньше. Лучше было нести в себе вопрос, чем такой ответ.

Он отпустил щеколду и пошёл прочь, считая по пути, загибая пальцы, как в детской игре: десять лет. Это казалось долгим сроком, почти вечностью для пятнадцатилетнего, и он подумал, что к тому времени, может быть, забудется само собой, зарастёт, как заросла за одну ночь бурая трава на выгоне. Лес за околицей стоял такой же тихий, как и всегда, неподвижный в безветренный вечер, — только теперь Степану казалось, что эта тишина смотрит на него в ответ и помнит его так же твёрдо, как помнил он саму эту ночь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.